

Константин Леонтьев

# Хризо



Константин Леонтьев

**Хризо**

«Public Domain»

1868

**Леонтьев К. Н.**

Хризо / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1868

«...Право не знаю, что тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать? Не знаю, что предпочесть! Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком не развита, сказал бы ты. Пусть так! Описать тебе ее я не могу. Что я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо», и это значит по-гречески золото...»

© Леонтьев К. Н., 1868

© Public Domain, 1868

# Константин Леонтьев

## Хризо

### *Повесть из критской жизни*

*От Георгия Николаидиса  
к Александру Петровичу Б-ну  
(в Москву)*

*Корфу, декабря 10-го 1864 года.*

Пароход наш пробудет здесь четыре часа. Я успею тебе написать отсюда. Давно ли это? Боже мой! Всего пять-шесть дней... Снега московские, Иван Великий, ваши санки, которые я так люблю, бедная Машенька. (Помнишь, как она мне говорила: «Какой же вы барин? Вы разве барин, – вы грек».) Потом Петербург; за Петербургом прусские поля, зелень, чуть покрытая морозом; немки, немцы; Бреславль и его древний собор; ночью в Вене – пуховое одеяло, слуги, которые, по правде сказать, больше похожи на секретарей посольства, чем на слуг; Св. Стефан, Триест... Русское все исчезло... Нет, виноват, не все... Под самой Веной, ночью, какой-то бедняк принял мои вещи в вагон, и когда я дал ему флорин, он схватился за ручку дверцы и спросил:

– Захватить вас, пане?

Откуда этот малоросс?..

Только здесь, в Корфу, я как будто приблизился снова к России... Лимонные деревья и розы в цвету, оливы, мои родные оливы, зеленее, чем летом. На улицах нельзя ходить в пальто... Ты скажешь: где ж Россия?

Где она? Когда я сошел с парохода, старик-лоцман, наш же грек, сказал мне:

– Зайдем вместе к Св. Спиридону и поклонимся мощам его, чтоб он нам до Сиры море хорошее дал...

Мы помолились, и тут я, на другом конце земли, посреди роз и лимонов, глядя на священников и на серебряную раку, почувствовал себя еще роднее русским, чем был в Москве... Ты смеешься, я знаю. Мне, конечно, не переделать тебя; но грек никогда таким материалистом не сделается, каким бывает русский студент. Я, впрочем, уверен, что и ты переменишься.

Ну, прощай. До самой Кандии не возьму уже пера в руки.

Прощай, мой добрый, мой верный друг, тысячу раз обнимаю тебя.

*Твой Ник-с.*

*Января 25-го 1865 г., Халеппа.*

Здравствуй, здравствуй, милый мой! Вот уже около месяца, как я на родине; всех увидал: отца, мать, брата и сестру, старых соседей и родных. Я долго не писал... Но, если бы ты знал, как здесь приятна лень! Что за край моя родина! Что за милый край! Как бы мне назвать мой божественный остров? Райский угол? Сад садов? Краса морей? Нет! Я назову его корзиной цветов на грозных волнах моря. Когда бы ты видел, что такое здешний грек! Как чисто его жилище, какая наша Халеппа веселая! У моря дома все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени. Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и чтобы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится простое, бедное белье... Но что я тебе скажу еще? Говорить много нет сил.

Представь себе только небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, как на московских полях, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое персиковое дерево... Под оливами барашки гуляют и звенят бубенчиками!..

Довольно! Нет ни силы, ни охоты... Прощай. Ах, моя родина! Ах, мой Крит драгоценный! И как милы здесь девушки! и семья наша какая добрая, почтенная! Прощай!

*Твой Ник-с.*

*10-го февраля.*

Ты пишешь, что понимаешь мою любовь к родине. Неужели? Я, признаюсь, этого не ждал. Я вас, русских, не понимаю. Помнишь, когда наши товарищи студенты-поляки хвастали, как повстанцы бьют русское войско и как вешают русских, вы все молчали; я один вступился за вас, за вашу честь, и вы же смеялись надо мною и говорили: «Кто ж нынче говорит о патриотизме!» Да, может быть, с тех пор и вы переменялись!.. Ты просишь также, чтобы мои письма были длиннее и подробнее; просишь картин общественной жизни в Крите. Общественной жизни, мой друг, здесь нет; а есть дивная... народная жизнь; о ней я тебе буду писать с радостью. А пока я скажу тебе, что представился вашему консулу и познакомился с здешним русским секретарем. Консул, пожилой и чрезвычайно умный человек, принял меня прекрасно и приглашал обедать почаще; а секретарь ваш – твой контраст. Такого исступленного славянофила я еще и не видал. Он православный, с немецкою фамилиею – Розенцвейг. Он ненавидит свое имя и на дружеских письмах подписывается «Разноцветов». У него чахотка, и он, бедный, едва ли долго проживет. Он это понимает сам и благодарит Бога за то, что ему придется умереть в таком прекрасном месте, как Крит.

Так ненавидеть все европейское, как ненавидит Розенцвейг, по-моему, даже странно. Я еще не могу понять его. Он говорит, например, что если б у него была дочь, то он ее охотнее отдал бы замуж за молодого критского крестьянина, чем за богатого образованного европейца. Особенно французов не любит. Это не политическая вражда, а какой-то философский фанатизм! «Французская нация – это рак Европы!» – вот его слова. Я этого не понимаю. Французы, по-моему, благородны, они любят сами независимость и готовы помочь всем угнетенным народам. Розенцвейг говорит: «Что мне до этого за дело? Я бы и свободы из французских рук не принял!»

Спорить с ним я боюсь, потому что у него тогда начинается сильный кашель.

Право не знаю, что тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать? Описать ли тебе нашу семью, отца, мать, мою милую сестру и братьев? Рассказать ли тебе, как приехал, кого я первого встретил? Или описать здешнее «la société», и какие делал я визиты здешним иностранцам, и сколько раз слышал вопросы: «Как вы нашли вашу родину?» Или объяснить тебе, в каком положении Крит с политической точки зрения? Или описать тебе наши прогулки с Розенцвейгом по берегу моря и наши рассуждения? Для меня, по крайней мере, все это так занимательно, так ново, что я готов бы писать целые тетради, как я шел от пристани чрез гору домой, и какого цвета была земля на тропинке между травой, и сколько окон у нас в доме, и как взглянул Розенцвейг, когда я сказал о французах то-то и то-то... Готов описать и суды турецкие, и нравы наших греков, и наружность моей милой сестры...

Не знаю, что предпочесть!

Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком *не развита*, сказал бы ты. Пусть так!

Описать тебе ее я не могу. Что я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо», и это значит по-гречески золото; она предобрая, так обо мне заботится и сама мне стелет каждый вечер постель; сама подает мне кофе и варенье, зовет меня «Йоргаки», песни поет премило.

Лучше всего я переведу тебе одну песенку, которую она поет и которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена.

Внизу, в саду у моря, У морского берега, Живет девушка, которую я люблю. Она белокурая и черноокая, Белокурая она и черноокая. И ей всего двенадцать лет, Ей уже двенадцать лет, а свет дневной ее не видал еще.

Только мать ее знает,  
Мать ее знает и зовет: «Моя гвоздичка!»  
Моя гвоздичка, корешок мой гвоздичный,  
Где, гвоздичка моя, теперь благоухаешь?

Розенцвейг заставляет сестру мою беспрестанно петь эту песню, все хвалит ее. Я было сказал ему раз:

– Жаль, что мать не согласилась отправить ее в Сиру на воспитание, отец хотел.

Розенцвейг рассердился и сказал:

– Полноте, что за предрассудок! Неужели учить по моде? она и так прелесть!

Что она наивна, это правда. Я подарил ей стереоскоп и недавно объяснял ей картинки; ей понравилась особенно одна, не знаю уж кто – немка или француженка в деревенской одежде, в коротком платье, – собирает, стоя на лестнице, виноград. Она похвалила и, обращаясь к Розенцвейгу, который тоже тут был, сказала так серьезно:

– Какие у этих немок ноги красивые и толстые!

Я засмеялся, а Розенцвейг встал в восторге и воскликнул:

– Вот и толкуйте о ваших Афинах, о вашей Сире! Была бы она там, так вы бы этого от нее не слышали.

Я нарочно, чтобы подразнить его немного, сказал было раз:

– Однако петербургская девица или дама не ей чета!

– Какая дама! – говорит, – я в Петербурге знал одну даму, Лизавету Гавриловну Бешметову; так она сама себя звала: *женщина-человек*, все искала обмена идей, а чтобы подать пример умеренности, носила все одно и то же платье из люстрина, цвета гусяного помета. И вы думаете, что я предпочту ее вашей сестре?

Я ожидал от него чего-нибудь подобного: я начинаю привыкать к нему и любить его.

И все наши халепские греки его любят; между ними он очень популярен. Все они хвалят его и кончают свои похвалы одним и тем же.

– Одно слово, русский человек, хороший человек, православный человек! Жаль только, что больной такой.

Впрочем, ты не думай, что он какой-нибудь вялый или, робкий. Нет, он молодец. Во-первых, он лихо ездит верхом. Вот тебе пример. К нашему дому прямой дороги снизу нет; да и вся деревня идет вниз – вверх, вверх – вниз, по горе и скалам. К нашему дому надо подъезжать или сверху или снизу, слезать с лошади и потом уж к воротам сходить по каменной лестнице. На днях Розенцвейг был у нас и привязал лошадь внизу; когда пришло время ему ехать, я велел меньшому брату подвести ему лошадь, а брат большой хитрец и шалун; он нарочно взвел лошадь прямо к воротам наверх. Розенцвейг вышел, посмотрел вниз; пятнадцать крупных скользких ступеней. Ничего не сказал, сел и стал спускаться. Лошадь у него молодая, пугливая, скользит, ржет...

У меня сердце замерло, мать моя покачала головой и отвернулась; сестра тоже испугалась, отец был недоволен и начал бранить брата. Только старый дядя мой Яни, сказал:

– Ничего! Он знает. Русский человек!

Не довольно ли? Кажется, ты не можешь пожаловаться, что письмо мое коротко? Прощай, будь здоров и не забывай любящего тебя

Г. Н-са.

*1 марта 1865 года.*

Ты спрашиваешь, что же это такое Халеппа, Халеппа, Халеппа? А где она, ты не знаешь. Это правда, виноват; мне показалось, что весь мир должен знать мою бесценную Халеппу!

Халеппа – это деревня, в получасе ходьбы от города Канеи. А город Канея, это наш критский Петербург. Есть у нас и Москва – Ираклион, или Кандия, которую зовут также Мегало-Кастро. Ты, я думаю, читал (а вероятнее, что нет; ты все «Крафт-унд-Штофф» читаешь), что Кандию турки осаждали 25 лет и что под стенами ее погиб герцог де-Бюффор, которого во время Фронды звали «le roi de la Halle» и который был так популярен между парижской чернью.

Ираклион – наша древняя столица, в ней живет митрополит всего острова; там религиозное чувство сильнее; там и турки страшнее фанатизмом. А Канея – это Европа; здесь светская власть – паша, который говорит по-французски; здесь веют консульские флаги всех держав, здесь «la colonie européenne»; горсть купцов средней руки, докторов, шкиперов европейских, чиновников. Канея – наш Петербург, «рак Крита», по Розенцвейгу.

Не знаю, право, рак ли это, и съест ли он нашу национальную физиономию; но знаю только, что город грязен и душен, заперт в крепости, тесен, скучен. Но и в нем, если хочешь, есть своя поэзия; он напоминает описания и картины средних веков: узкие улицы, которые еще недавно (при Вели-паше), чуть-чуть не обагрились кровью... Экипажей нет; толпы пешеходов и верховых; все тяжести возят на мулах и ослах; одежды пестрые, речи шумные, лавки плохи. По захождении солнца ворота крепости запирают, и уж ни в город не пустят, ни из города не выпустят никого, конечно, кроме консулов и чиновников консульства, но и для тех отпирают такую маленькую калитку, что в нее и среднего роста человек проходит с большим трудом.

Я в Канею почти никогда не хожу. «La société» терпеть не могу; иностранцы здешние так самоуверенны, так гордо смотрят на турок и на греков, так презирают все восточное, а сами так пусты, суетны и алчны, что даже и не смешны; они даже и в злую комедию не годятся, в них ничего резкого нет. По желанию матери и по совету консула, я почти всем им сделал визиты: никто почти не заплатил мне их. С какой стати пожилым и образованным членам «de la colonie européenne» платить визит Йоргаки Николаидису, сыну лавочника, который торгует маслинами и мукой и носит шальвары и феску! А они не лавочники? Мой отец не им чета! Он бился с турками еще отроком, и на груди его один шрам благороднее их самодовольных лиц! Но то мой отец, а они европейцы! Они говорят по-французски; они книги торговые ведут по всем правилам бухгалтерии; они не носят фески и дорогих шальвар, как мой отец, а старые протертые сюртуки и панталоны... Моя сестра не умеет танцевать польку, а их дочери умеют. И когда бы ты видел, как они все дурны собой! Нет, прав мой бедный Розенцвейг. Я становлюсь его адептом и начинаю ненавидеть Запад.

Прощай! И писать больше не буду, пока не получу ответа, что ты согласен со мной!..

*Твой Г. Н-с.*

*5-го апреля.*

Я очень рад, что ты со мной согласен, хотя Розенцвейг, которому я показывал твое письмо, говорит, что у тебя на уме *другое*, а у нас *другое*. Ты говоришь, что западная буржуазия отживает свой век, и что у русских потому есть великая мировая будущность, что только в их среде могут развиваться какие-то новые люди, чуждые всего того, что теснит европейцев. Ты прибавляешь также, что будущность России в высшей степени космополитическая.

Что мне с вами делать? Ты одно, а добрый мой Разноцветов другое!

Много мне писать тебе некогда сегодня, я хотел только сдержать слово. Мы все сейчас едем в сады Серсепильи к двоюродному дяде моему Рустем-эффенди. Уж сын его Хафуз, мой любимый товарищ детства, привел для меня сам лихого коня, а для милой сестры моей – такого чистого, красивого и смиренного осла, что просто игрушка... Все мы едем: отец, мать, братья, сестра, Хафуз и Розенцвейг с нами... И даже она... А! Вот еще на радость твоему космопо-

литизму: она – еврейка, невестка банкира Самуила Нардеа. Радуйся же: сам я грек, дядя мой турок, у меня здесь два друга – один русский, другой турок, а предмет любви – роза Палестины...

Вот тебе «la sainte alliance des peuples!» Прощай, ослы наши кричат, и сестра уже зовет меня: «Йоргаки! Йоргаки! Мадам Нардеа пришла!» Вот счастье-то! Прощай.

*Твой Г. Н-с.*

*16-го апреля.*

Кто ж она? И как я полюбил ее? И как это возможно, чтоб у эллина был дядя турок? И с какой стати его сын Хафуз мне друг? И что такое Серсепилья?

Не знаю, достанет ли у тебя сил читать все это; но я берусь тебе все объяснить подробно.

Что такое Серсепилья? Это рай земной! Когда мы выходим с Розенцвейгом гулять, мы всегда сядем на горе за Халеппой и глядим на эти дальние оливковые рощи. Но что я скажу о них? Какие слова передадут тебе поэзию этого леса древних олив, деревень полуразрушенных и полудиких, стен, покрытых плесенью, цветов, которые ползут по стенам или ниспадают с террас?.. Издали картина величава и таинственна: над морем широких олив столбами возносятся тополи, белеют там и сям башни, стены больших зданий, и стелется дым из незримых, убогих очагов... О, друг мой! Как прекрасна моя родина! Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как мила, как опрятна, как свободна в обращении и как чиста нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш простой старик в высокой феске и седых усах! Слушай, друг мой: всякий любит свою родину сердцем... Но счастлив тот, кто может сказать, за *что* он любит ее! О, если бы в этой дивной стране, у этого прекрасного народа, были достойные вожди! Но их нет пока... и не знаем, откуда их ждать. И не думай, что я увлекаюсь только телесною красотой моих критян или храбростью их, или поэзией простого быта в живописной стране... Поверь мне, что нет. Мои греки без силы, без вождей, без помощи ждут освобождения и дождутся его. В глухих деревнях, в горах, до того неприступных, что мул, не рожденный в них, не смеет ступить на их стремнины, – и там эти красавцы и бандиты, которых рука так легко хватается за нож, и там они спешат учиться; и там заводят школы, выписывают учителей из Греции, похищают их ночью с оружием в руках, когда турки пытаются прервать эту связь со свободными Афинами. О, мой милый, русский друг! Люби моих братьев, критян; если ты холоден к поэзии и красоте и не в силах их любить, как Розенцвейг, за красоту и за высокое сочетание изящного и сурового в их чудной жизни, то люби их за гордые, свободолюбивые чувства, за пожирающий их сердца пламень независимости.

*Твой Г. Н-с.*

*20-го апреля.*

Итак, я не сдержал обещания, я не сказал тебе еще ни о первой моей встрече с *ней*, ни о Рустем-эффенди, ни о Хафузе. Если бы ты знал здешнюю жизнь так, как я знаю русскую, так мне было бы легко рассказывать тебе просто, что случилось со мной и с моими близкими. Но вы, русские, разве вы знаете, как живут здесь люди? Вы знаете последний переулочек в Париже, но что делают греки, как живут они, и почему живут они так, а не иначе, что вам за дело! А народ наш любит вас и чтит ваше правительство. Только для вашего консула стоит в нашей халеппской скромной церкви кресло, обитое красным сукном; только к нему идут люди с поздравлением в праздники; только за вас нашего доброго сельского священника, отца Анатолия, во время Крымской войны заключили турки в тюрьму. За вас, за победу вашему оружию он громко молился в церкви... Только на ваш флаг с любовью и надеждой смотрит, вздыхая, мой отец... Только ваше имя с любовью произносится в самых диких ущельях гор, и,



сядась за стол вашего чиновника, наш гордый островитянин шепчет, крестясь: «Вот в первый раз пришлось мне сесть за истинно-православную трапезу!»

Да, правда, и наши греки вас не знают, ни пороков, ни высоких ваших свойств не изучили, как бы должно. Но они верят в вашу силу, они любят вас, и старое добро ими не забыто. Прости же мне, что я все прерываю мой рассказ, прости моим беспорядочным порывам. Когда сердце полно, как совладеть с ним, добрый друг?.. Опять брошу письмо и начну его тогда, когда успокоюсь...

22-го апреля.

Довольно! Теперь я не скажу ни слова о моей родине. Я сейчас только вернулся от нее... Ее зовут Ревекка. Когда бы ты знал, какие у ней золотые волосы и как она сама бела и стройна! Она выросла в Константинополе, говорит хорошо по-гречески, читает Шиллера и по-турецки знает. И какая она хитрая и ловкая... Как она вьется передо мной, словно змейка, и скользит из рук! Я без ума от нее! Мужа ее нет; он торгует в Англии и приезжает сюда раз года в два, в три. Она живет у старика, своего свекра. Старик и жена его смотрят за ней очень строго; однако с тех пор как они на лето переехали в Халеппу и наняли дом близко от нас, я нахожу средство видаться с ней часто. Я чувствую, что нравлюсь ей, но она ужасно лукава и так тонко и ловко защищается, что даже трудно выразить эту летучую игру слов, это движение взглядов! Например, она говорит мне на днях: «Я не люблю греков». – За что? – «Они такие сердитые; я боюсь их». И смотрит мне невинно прямо в глаза, как будто я не грек. А потом начнет хвалить брюнетов и говорить: «Какие здесь, в Крите, мальчики все хорошие. Черноглазые такие, щеки розовые, лица нежные; вот и ваш младший брат какой красивый!» А младший брат, все говорят, на меня похож. На днях она рассердилась на меня за то, что я дал на Пасху нашим халеппским детям денег и старый сюртук мой, *чтобы жечь жида*... Как жечь жида? (Ты в ужасе! вот и опять отступление; чем же я виноват?) Наши дети на Пасху, в самую ночь под Светлое Христово Воскресенье, делают из соломы большую куклу на церковном дворе, надевают на нее шляпу и старое еврейское платье, стреляют в нее из пистолетов, и кукла загорается. Хохот, радость и шум такие, что заглушают на миг церковное пение. И ко мне пришли дети и просили «на жида». Я дал им 5 руб. Ревекка узнала об этом, начала меня упрекать и бранить греков варварами и фанатиками. Я смеялся, и она, наконец, так рассердилась, что ушла с террасы и целую неделю не показывалась. Вчера я шел мимо их дома, она сидела за калиткой, в тени, вместе с свекровью, и работала. Я даже обрадовался, что она не одна. При свекрови она не покажет, что дружба наша уже доходит и до ссор! Я поклонился, и она поклонилась. Я сел и спросил, как ее здоровье. Она говорит:

– Дурно; ваш Крит такой вредный. От южного ветра голова все болит. И скука! Константинополь – вот это город. А здесь что?

Я говорю ей:

– Если угодно, мы для вас и Константинополь возьмем. Только не сердитесь.

– Если, – говорит она, – ваши греки возьмут Константинополь, так я туда никогда не поеду! Турки гораздо лучше вас...

Старуха тоже вмешалась и говорит:

– Нет, зачем же так хулить греков? И греки хорошие люди; правда, что уж если турок добрый родится, так уж лучше доброго турка нет человека на свете!

– А стихи какие у них хорошие есть, и песни, и поговорки, – говорит Ревекка. – А у вас что? Все *поли-кало* и *поли-кало*. Вот у меня есть одна поговорка турецкая... (и она достала из кармана записку и подала мне). Прочтите...

Я читаю и вижу, что турецкие слова написаны латинскими буквами:

«Гель, кузум, баришелйм; хер кабат бендедер. Некадар кабат сендеольсун, гене гёзюм бендедер!»

Ни старуха, ни я по-турецки не знали, и Ревекка сперва прочла записку громко, с большим выражением, а потом перевела ее:

«Поди сюда, помиримся, мой ягненок; вся вина моя. А если бы вина была и твоя, все-таки ты очи главы моей!»

– Прекрасно! Прекрасные слова! – сказала старуха.

А я от радости сам не свой; ответил, однако, с презрением, что ничего особенно хорошего в этих словах не вижу и, как будто раздосадованный, встал и простился. Старуха говорит:

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Ревекка это шутит.

А я говорю:

– Нет, мадам Нардеа всегда бранит моих соотечественников и хвалит турок. Я вижу, что она греков ненавидит!

А сам взял записку и домой пришел такой веселый, до поздней ночи все мне хотелось петь и играть с сестрой и братом.

Прощай. О Рустем-эффенди и о Хафузе в другой раз.

*23-го апреля.*

Это письмо не кончится, кажется, во веки веков. Рустем-эффенди и Хафуз насильно рвутся в него. Сегодня Хафуз прискакал к нам из Серсепильи весь бледный и дрожащим голосом вызвал моего отца в другую комнату. Долго шептались они, потом отец велел оседлать свою лошадь, и они уехали вместе. Мы все напугались; сестра стала плакать; наконец пришел мой младший брат Маноли и сказал, что Рустем-эффенди хотят за долги посадить в тюрьму, что корабль его с маслинами и другими товарами потонул, и заплатить нечем. А долгу больше 20 000 пиастров (это на ваши деньги немного побольше 1000 руб. сер.).

Отец ночевал у Рустема, вернулся рано утром и сказал мне:

– Слушай, Йоргаки, вот тебе 15 000 пиастров, сходи к Самуилу, возьми у него на два месяца еще 5000; вот тебе и расписка моя ему. А от Самуила поезжай прямо к дяде Рустему и отдай ему деньги. Да не забудь, много-много поклонов ему от меня. А я усну немного.

Я спросил:

– А расписки с него не надо?

– Что за расписка с Рустем-эффенди! – сказал отец.

Вот какие друзья мой отец и Рустем-эффенди! Когда еще в 21 году было в Крите восстание, отец был в горах с восставшими греками, а Рустем-эффенди тогда еще был молод и жил с женой (у критских турок всегда одна жена), с матерью и двумя сестрами в Рефимно и торговал спокойно. С инсургентами дрались войска, и Рустема, как одинокого мужчину в большой семье, не взяли в солдаты. Пришлось раз в горах нашим терпеть тяжкую нужду и голод. Стали думать, что бы и где бы достать? Мой отец видит, что достать негде и что пропадут «христианские души» с голоду, или что придется поклониться паше и положить оружие; помолился он и пошел ночью в загородный дом Рустема. Стучится – не отворяют; громко стучать опасно: не услышали бы соседи-турки. Помолится еще раз мой отец и полез на стенку. Подняли собаки лай.

– Кто там? кто там? – закричали женщины.

Рустем отворил окно и курок взвел.

– Кто там?

Отец сказал:

– Я.

– Да кто ты? Я тебя вижу и выстрелю; ты скажи имя, – спрашивает Рустем-эффенди.

Отец сказал свое имя.

– А! Милости просим! Огня, огня! Да потише, чтобы соседи не слышали.

Накормили, обогрели отца; навьючили ему на мула хлеба, сыру, табаку дали и отпустили, а Рустем-эффенди сказал ему на дорогу:

– Да спасет себя Бог, несчастный!

Только тетка-старуха, мать Рустема, вышла к отцу и долго ругала его и всех греков; проклинала и веру нашу, и нас самих, и всех гяуров, только все по-гречески и *тихо*, чтобы соседи не услышали.

Вот с тех пор и дружба их. У Рустема-эффенди один только сын, тот Хафуз, о котором я уже писал. Такой он славный малый и молодец! Конечно, как и все здесь, человек простой, по-французски не знает, платья европейского не носит. Но по-восточному он довольно образован: по-турецки учился, что здесь очень редко, и по-арабски читает хорошо. Между турками он слывет за ученого юношу. Мы с ним в детстве были самыми душевными друзьями; без Йоргаки Хафуз не хотел играть и без Хафуза Йоргаки. Первое наше удовольствие было босиком, засучив шаровары, морских ежей ловить в море, около камней; разрежем их и едим.

Только раз мы поссорились, и то я был виноват.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.